

Семен Шпунгин

Бат-Ям, Израиль

ЗА ЩИТОМ ЭРЕНБУРГА

Должен прямо сказать, что мое отношение к Илье Эренбургу¹ никогда не было, да и сейчас не может быть беспристрастным. По той причине, что в нем нашел я в далекой юности своего ангела-хранителя. Он принял близко к сердцу злключения подростка, вырвавшегося из гетто. И если бы не наша встреча, случившаяся за восемь месяцев до конца войны, моя дальнейшая судьба, возможно, повернулась бы иначе. По сей день многие, кто понаслышке знает об этом, считают меня воспитанником, а то и приемным сыном Эренбурга. В действительности все обстояло несколько по-другому, о чем разговор еще впереди.

Поначалу не обойтись без вступления к моему рассказу. В самых общих чертах — о писателе, имя которого осталось в памяти людей старшего поколения и было известно во всем мире. Ему выпала участь находиться в гуще событий двадцатого века. Многие его произведения будоражили умы, вызывали споры и острые дискуссии. Эренбург никогда не был обделен вниманием читателей. Он написал более ста книг, включая немало нашумевших романов. Помимо беллетристики, его дарование проявилось в других жанрах, будь то эссе, памфлеты, путевые очерки или мемуары. Менее известны его стихи, хотя они сопутствовали всему творчеству писателя.

Особое место в его деятельности занимала журналистика. Он был выдающимся публицистом, чье мастерство оттачивалось еще на полях сражений в республиканской Испании и достигло своей вершины в годы Второй мировой войны. Стилль Эренбурга распознавался безошибочно: емкие, динамичные фразы, лапидарный слог, афористичность. Поражали обширные знания писателя. Он обладал энциклопедической эрудицией, слыл знатоком истории, тонким ценителем русского и мирового искусства, не говоря уже о литературе.

«Есть много прекрасных городов — всех прекрасней Париж», — писал Эренбург, который жил подолгу в столице Франции и безмерно любил ее. Но была у него и другая, не менее сильная любовь — Россия, его дом, его родная среда, без которой он просто не мог обходиться. Такая «раздвоенность» — характерная черта биографии Эренбурга. При всем при том, что он был советским писателем, в СССР его воспринимали как носителя западной культуры, и власти всегда относились к нему настороженно. Порой его восхваляли, одаривая государственными премиями и наградами, но нередко одергивали и низвергали, как, например, в послевоенном 1945 г., когда «Правда» напечатала статью Г. Александрова «Товарищ Эренбург упрощает».

Я видел Илью Григорьевича в разных ситуациях — и в славе, и в опале. Он знал себе цену и болезненно переносил нападки официальной критики. Находиться в тени было ему нелегко. Легкоранимый и чувствительный к обидам, Эрен-

бург иногда поддавался тягостному настроению, а подчас и растерянности, но вел себя сдержанно, стараясь не показывать на людях свое состояние. Это ему не всегда удавалось. И тем не менее, даже попадая в немилость к «партии и правительству», он не опускал руки. Работа была его спасением. Она отвлекала его от всех напастей. Не прекращались также и многочисленные встречи. В общении этот человек был очень доступен, напрочь лишен высокомерия, умел слушать и располагать к себе собеседника. Среди его друзей и знакомых были всемирно известные художники и писатели, ученые и политики, полководцы и коронованные особы.

В своей жизни Эренбург, по его собственному признанию, часто заблуждался, менял свои воззрения, сомневался, не все понимал. Очевидно и то, что он вынужден был приспосабливаться к господствующей идеологии и цензуре. Ему принадлежат слова: «Я не любил Сталина, но долго верил в него, и я его боялся». Необычайная популярность писателя сыграла с ним злую шутку. Некоторые сочли, что человек такого масштаба мог возвысить свой голос против гонений и кровавых расправ в стране. Его упрекали в том, что он проповедовал культ молчания. И ставили ему в пример Льва Толстого. По этому поводу писатель высказался вполне определенно: «Молчание для меня было не культом, а проклятием». Надо принимать его таким, каким он был. Или не принимать — как кому нравится.

Илью Эренбурга, чье имя было у всех на слуху, не миновали поклепы и наговоры. В 1957 г. газета «Ле Монд» обвинила его в гибели группы еврейских писателей — со ссылкой на журналиста, который слышал об этом от заключенных одного из сибирских лагерей. Сообщение перепечатали многие газеты. Другой журналист через два года выпустил в Париже книгу, где приводилась та же информация и вдобавок утверждалось, что Эренбург якобы выступал свидетелем на заседаниях трибунала, приговорившего писателей к смертной казни. Трудно отмыться от таких липких обвинений. Эренбург с возмущением и горечью отвергает их в своих воспоминаниях «Люди. Годы. Жизнь». Думаю, что появление подобных измышлений объяснялось просто. У «доброжелателей» Эренбурга вызывало вопросы и подозрения то обстоятельство, что сам он не пал жертвой сталинских репрессий. Точно в таком же положении оказывались люди, уцелевшие в Катастрофе. Раз остался в живых, значит, «сотрудничал» — чистой воды логика КГБ!

Эренбург был, конечно, далек от привязанности к еврейским традициям и национального самосознания. Но его сердце обливалось кровью от того, что сотворили нацисты с его народом. Вместе с Василием Гроссманом² он решил показать миру истинную картину совершенных злодеяний, возложив на себя невероятно трудную задачу — составить и опубликовать «Черную книгу»³. Она долго и тщательно готовилась, но так и не вышла в свет. Весь тираж был уничтожен, типографский набор рассыпан, а рукописи конфискованы в 1948 г., когда в Москве разогнали *Еврейский антифашистский комитет. Понадобилось еще более тридцати лет, чтобы «Черная книга» восстала из небытия. Примечательно, что это произошло в Израиле, где ее почти полностью воспроизвели на основе материалов архива Эренбурга. Первое издание состоялось в 1980 г.

Едва ли найдется другой писатель, который бы внес такой заметный вклад в победу над гитлеровской Германией, как Илья Эренбург. За годы войны он написал около 2000 статей, которые печатались чуть ли не каждый день в «Красной Звезде», «Правде», других центральных газетах и за границей. В редакциях удивлялись, откуда у него берутся силы для такого титанического труда. Все, что выходило из-под его пера, читали десятки миллионов людей. Вдохновляющего слова пи-

сателя с особым нетерпением ожидали на фронте, оно поднимало дух солдат и офицеров действующей армии. А в одном из партизанских соединений был даже приказ, разрешающий раскуривать любые газеты, «кроме статей Эренбурга»...

*

Хочу рассказать, при каких обстоятельствах я впервые узнал об Илье Эренбурге. Мне было 12 лет, когда в самом начале войны немцы захватили Даугавпилс в Латвии и наша семья очутилась в каменном мешке предместных укреплений, превращенных в гетто⁴. Мы жили от акции к акции, которые всегда начинались одинаково. Людей сортировали — кому в какие ряды становиться. Пройти до конца через это сито довелось немногим. За неполный год было уничтожено более двадцати тысяч человек. Я потерял родителей, сестру семи лет, близких и далекого родственников — всех, кто оставался в городе. Мое спасение для меня самого непостижимо.

Остатки евреев, всего несколько сотен человек, были переведены в крепость — так называемое «малое гетто». Здесь мне иногда попадались газеты, выходившие при немцах. Такие, как «Новое слово» или «*Tēvija*» («Отечество») и «*Daugavpils Vēstnesis*» («Даугавпилсский вестник») (на латышском языке). В них довольно часто появлялось имя Эренбурга в сопровождении злобной ругани, антисемитских кличек и карикатур. Фашисты, конечно, ненавидят всех евреев, ду- мал я, но почему они постоянно вспоминают Эренбурга? Наверное, они видят в нем сильного врага, он не дает им покоя, мешает, как кость в горле. И в моей мальчишеской голове зародилась фантазия, которой я стал предаваться все чаще и чаще. Если, Бог даст, я выживу, то непременно расскажу Эренбургу обо всем, что тут происходило, о том, что я испытал и видел за эти годы.

Впоследствии, когда я уже находился в бегах, работал у крестьян под чужим именем, выдавая себя за беженца из России, приключился случай, еще более укрепивший мою наивную мечту. Однажды я оказался в доме, где на этажерке стоял радиоприемник. Когда хозяйка зачем-то вышла во двор, оставив меня одного, я быстро включил аппарат и стал лихорадочно вращать ручки, настраиваясь на Москву. И вот я уловил голос диктора! Он говорил о возмездии, настигающем фашистов, о неминуемой расплате за все их злодеяния и о великой победе, которая теперь уже не за горами. Это длилось всего несколько минут. Я прильнул к приемнику, боясь шелохнуться, но передача подошла к концу. И вдруг: «Мы передавали статью Ильи Эренбурга...» У меня аж мурашки пробежали по телу.

Советская армия взяла Даугавпилс и его окрестности 27 июля 1944 г. Освобождение застало меня в деревне Кейши Калупской волости. Не буду описывать свои переживания. Я сразу вернулся в мой город, полуразрушенный, пыльный, совсем не такой, каким помнил его с детства. Я увидел много людей, но среди них — ни одного еврея и вообще ни одного знакомого. Для меня это была пустыня. Я бродил, не зная, куда деваться, ночевал в брошенных квартирах, пока не нашел пристанище в «истребительном батальоне»⁵, наспех сформированном из местного населения. Мне выдали большой немецкий автомат, который чуть ли не волочился по земле, и стали посылать на задания — патрулировать улицы. Иногда я забирался в развалины домов и стрелял в воздух, пугая прохожих. Мне было пятнадцать лет.

Вскоре я узнал, что проводится срочный набор на курсы ОСОАВИАХИМа⁶, находящиеся где-то под Москвой. Достаточно было услышать слово «Москва», чтобы я загорелся желанием попасть туда. Это было трудно, но меня все же взя-



Семен Шпунгин. Фото 1944 г.

ли, несмотря на то, что совсем не подходил по возрасту. Не помню, как назывался поселок, куда из Даугавпилса с пересадкой в Москве прибыла наша группа. На курсах было два отделения — собаководов и саперов. Меня определили во второе. Здесь учили обезвреживать взрывные устройства. Но я, как ни старался, все не мог в них толком разобраться. Курсантов готовили к отправке на минные поля.

После занятий и по выходным я ездил в Москву. Она ошеломила меня. Такого огромного города я никогда не видел. Но было еще одно очень сильное впечатление: по улицам свободно ходили евреи! Каждый, кого я принимал за еврея, вызывал неодолимое желание подойти и завести разговор под любым надуманным предлогом. Меня не отпускали мысли о пережитом.

Так я познакомился с человеком средних лет у входа в большой дом, на котором была вывеска какого-то научного института. Приветливый и общительный, этот человек внушал доверие. Слово за слово, и я уже излагаю ему свою историю, а он слушает меня внимательно и задает вопросы. Отвечая на один из них — о том, что меня интересует в Москве, — я поделился своей давней мечтой о встрече с Эренбургом... Мой собеседник взглянул на меня, чуть улыбнулся и попросил немного подождать. Он скрылся за дверями института и через какое-то время вернулся с запиской в руке:

— Здесь адрес и телефон писателя Овадия Герцовича Савича⁷. Пойдите сначала к нему, прямо сейчас, а потом вас сведут с Ильей Эренбургом. Вечером он будет вас ждать.

Я понятия не имел, кто такой Савич. Лишь позднее узнал, что это самый близкий друг Ильи Эренбурга. Они были неразлучны с начала двадцатых годов. Одновременно работали во Франции, писали репортажи о гражданской войне в Испании, постоянно встречались, общались семьями. Эренбург писал в своих мемуарах: «Черновики многих моих книг испещрены пометками Савича — он замечал немало погрешностей... Я ему многим обязан». В ранней молодости Овадий Герцович был актером, потом стал профессиональным литератором. Он автор нескольких романов, ряда повестей и рассказов, но особенно ценились его переводы стихов поэтов Франции, Испании и Латинской Америки.

Чета Савичей проживала на Старом Арбате (тогда просто Арбате). Хозяева приняли меня радушно, были ко мне очень внимательны. Они усадили меня за стол, накормили и всячески старались, чтобы я чувствовал себя непринужденно. Теплоту, которой меня окружили, впоследствии я ощущал постоянно, когда бы ни приходил в этот дом. Аккуратно одетый, подтянутый, с темной шевелюрой, тронутой проседью, Овадий Герцович был мягким и удивительно деликатным человеком. Под стать ему была утонченная, обаятельная Аля Яковлевна. Много лет спустя я случайно узнал, что она дочь известного московского *казенного раввина, юриста по образованию Якова Мазе⁸, чье имя вошло во все еврейские энциклопедии. Савичи навсегда остались в моем представлении эталоном интеллигентности.

Тогда мы долго сидели с Овадием Герцовичем у его письменного стола и вели разговор о Даугавпилсском гетто. Он вникал в мельчайшие подробности, связанные с моей судьбой, уточнял имена людей и даты недавних событий, детально расспрашивал о моем побеге, о том, как меня поймали и доставили в гестапо, а потом чудом выпустили оттуда, поверив, будто я отстал от поезда с беженцами. И все это Савич заносил в тетрадь, заполняя страницу за страницей. Сделанные им записи позднее легли в основу отдельной главы в «Черной книге» («Рассказ Семьи Шпунгина»). По окончании беседы Савич позвал из соседней комнаты племянника и попросил проводить меня к Эренбургу.

И вот минут через сорок мы в квартире Эренбурга на Горького (ныне Тверская), 8. Он приглашает меня в свой кабинет и указывает на мягкое кожаное кресло. А я смотрю на него во все глаза, не оглядываясь и не замечая вокруг предметов,



Илья Эренбург

столь запомнившихся мне по будущим посещениям: большой стол, заваленный бумагами и журналами, стеллажи с эренбургскими книгами на разных языках, его портреты работы Пабло Пикассо и других выдающихся художников, знаменитая коллекция трубок... Я вижу тихого, чуть сутулого человека в мешковатом твидовом пиджаке и пытаюсь осознать невероятное. Ведь со мной рядом сам Эренбург, и при желании можно даже коснуться его... Голос Ильи Григорьевича выводит меня из замешательства. Коротко, сухо, по-деловому он задает всего два вопроса, причем неожиданных. Во-первых, желаю ли я остаться в Москве, и, во-вторых, намерен ли пойти учиться в школу. На то и другое, не задумываясь, отвечаю утвердительно. Больше ни о чем он не спрашивает, успев, как видно, уже созвониться с Савичем. И на прощание:

— Хочу вам помочь. Наберитесь немного терпения. Как только выясню возможности, дам знать...

А через две-три недели бессменный секретарь Эренбурга Валентина Аронова Мильман, обыскав Москву через своих знакомых и их знакомых, нашла семью, согласившуюся принять «мальчика из гетто». Софья Борисовна Лифшиц, муж которой погиб в ополчении, ее старенькая мать и дочь-студентка занимали две комнаты в коммунальной квартире на Тверском бульваре. Софья Борисовна преподавала на кафедре политэкономии в Институте иностранных языков. Это была женщина с властным характером и с добрым сердцем. В семье, приютившей меня, я чувствовал себя хорошо и не знал забот, хотя жили в некоторой тесноте и по кар-



Илья Эренбург.
Портрет работы Пабло Пикассо. 1948 г.

точкам. Я мог лишь догадываться, что Эренбург и Савич оказывают помощь, но мне об этом не говорили.

На первых порах у Эренбурга было со мной немало хлопот. По его просьбе генерал, возглавлявший ОСОАВИАХИМ, издал приказ о моем увольнении «по несовершенности» с указанием, чтобы мне оставили выданное обмундирование. Вдобавок Эренбург прислал свою фронттовую шинель и еще кое-что из своей военной экипировки. Далее встал вопрос о прописке. В закрытой Москве, да еще во время войны, это было непросто. Опять все решил звонок Эренбурга, за которым последовало распоряжение начальника Управления милиции столицы...

Но оказалось, что у меня нет никаких документов, кроме справки об отчислении с курсов. Пришлось оформлять свидетельство о рождении «по восстановлению возраста» в ЗАГСе. На вопрос о моем имени я ответил «Семен», но вмешалась Софья Борисовна:

— Нет, не Семен, а Сема, — он еще маленький.

Возражать было бесполезно. Так и записали. Можно себе представить, сколько потом понадобится усилий, чтобы изменить эту запись. Непредвиденный случай произошел и в отделении милиции, куда я явился для прописки. В отдельной комнате двое в штатском учинили мне допрос прямо с порога:

— Какую разведывательную школу вы кончали у немцев? Быстро назовите расположение и даты! Отвечайте!!

Сперва я опешил, а потом взорвался да так, что в конце концов чекисты стали меня успокаивать. Помню их слова напоследок:

— Уж извините, у нас работа такая.

Учиться я пошел в заведение под названием «Городская очно-заочная школа». Пропустив три года, в обычной школе я был бы «переростком». Ко всему прочему я совсем не знал русской грамматики. Весь мой довоенный багаж в Латвии — это три класса на *ашкеназском *иврите и еще четвертый на *идише. Тем не менее за один учебный год я одолел в Москве и пятый, и шестой классы.

Я встречался с Валентиной Ароновной Мильман, другими людьми из круга общения Эренбурга и Савича. Появились и новые знакомые. Нередко я посещал Еврейский антифашистский комитет на улице Кропоткина, где, случалось, разговаривал с Львом Квитко, Ициком Фефером, Перцем Маркишем⁹. Однажды меня пригласил Василий Гроссман, чтобы написать обо мне корреспонденцию для зарубежных газет. Она была передана через Совинформбюро¹⁰.

Я ненасытно читал книги, желая наверстать упущенное, и даже слагал стихи, о чем не стоило бы вспоминать, не будь у этого моего возрастного увлечения не-

которых последствий. То, что у меня тогда получалось, стихами назвать можно с большой натяжкой. И все же подчас возникали строки, не ушедшие из памяти:

Я помню тот день с рассвета,
И вал, ограждающий гетто,
И палачей озверелость,
Как рядом прощались люди,
Как кто-то молил о чуде,
Как жить мне тогда хотелось...

Ума не приложу, как я осмелился показать свои «произведения» Эренбургу. Илья Григорьевич, просмотрев исписанные листки, только и сказал:

— Есть удачные строки, но вам предстоит много работать над собой.

Тем более удивительно, что у него, как я мог в дальнейшем убедиться, сложилось впечатление, что мои «литературные» опыты не безнадежны. Позднее, уехав из Москвы, я так же самонадеянно послал свои сочинения Василию Гроссману. Он ответил откровенно: «...стихи твои прочел, спасибо, что не поленился их прислать. В стихах есть удачные строки, но — много грехов, чувствуется недостаточное знание русского языка. Надо тебе побольше читать и строже относиться к каждому написанному слову. Если будешь писать записки о гетто, старайся писать точно и просто».

3 марта 1945 г. газета «Эйникайт» («Единение»)¹¹, издававшаяся на идише Еврейским антифашистским комитетом, поместила статью с моим портретом под весьма «оригинальным» заголовком «Сема Шпунгин». Статья завершалась словами: «Солдаты Красной армии! Вас благословляют дети, которых вы спасли из фашистского ада! Вас благословляют матери, сестры и братья!»

День Победы до поздней ночи я провел в ликующей толпе на Красной площади, которая освещалась прожекторами и россыпями разноцветных огней незабываемого салюта.

О статье в газете «Эйникайт» случайно узнали две сводные сестры моей мамы, которые еще до Первой мировой войны уехали в Петербург, вышли замуж и постоянно жили там, а в эту войну перенесли блокаду Ленинграда. Одна из сестер, тетя Нюта, поспешила в Москву, чтобы повидаться со мной. При встрече она обняла меня, расплакалась, а потом стала настойчиво уговаривать переехать в ее семью. Я согласился и спустя несколько месяцев — осенью 1945 г. — покинул Москву.

В Ленинграде родственники приняли меня как сына. Но едва начав посещать школу, я серьезно заболел. У меня обнаружили открытую форму туберкулеза. Мне казалось, что это конец. Не только болезнь ввергла меня в отчаяние, но и необходимость бросить школу. Я сохранил письмо Савича, присланное в ответ на мое сообщение о случившемся. Это письмо было для меня большой поддержкой, а лестные слова о моих способностях скорее говорят о сердечности Савича и его добром отношении ко мне. Приведу лишь отдельные отрывки.

«Милый Сема, нельзя так отчаиваться... Вы спаслись, Вы нашли родных не для того, чтобы бо-



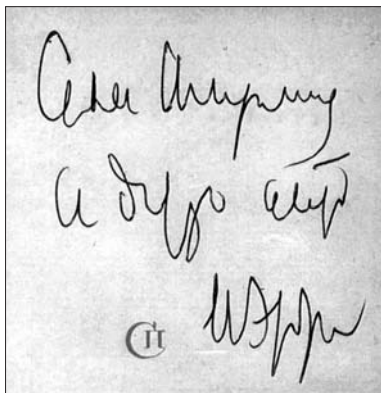
Василий Гроссман

лезнь парализовала Вас... Вам ли не знать, что гибнут безвольные, не сопротивляющиеся. Найдите в себе мужество тех дней, когда Вы бродили по дорогам, спасая свою жизнь... Эренбург сказал мне, что на Нюрнбергском процессе¹² один ленинградец, фамилии которого он не помнит, говорил ему про Вас и называл подающим надежды начинающим поэтом. Он прибавил, что Вы еще нетвердо знаете русский язык... Что делать, придется, может быть, пожертвовать год учебы. Зато подумайте, многие ли в Вашем возрасте столько пережили и многие ли уже обратили на себя такое внимание своими способностями. Право же, одно стоит другого...»

Меня лечили и поставили на ноги в Туберкулезном институте на Лиговке, а потом еще долго приходилось терпеть неприятнейшую процедуру «поддувания» легкого. Летом 1946 г. я возвратился на родину — в Даугавпилс, где климатические условия были более благоприятными для моего выздоровления. Здесь я жил в семье дяди Моисея, младшего брата моего папы. В начале войны он успел эвакуироваться и вернулся инвалидом, потеряв на фронте сына. Дядя был фотографом, дом его со студией уцелел, и потому он мог снова заниматься своим делом. А я окупился в учебу, «перепрыгивая» через классы, которых в школе у нас было тогда 12. К тому же я стал активным участником городского литературного объединения. Мои корреспонденции, стихи и даже рецензии время от времени печатались в местной газете «Латгальская правда» и в рижской «Советской молодежи».

Связи с моими московскими покровителями не прекращались. Эренбург однажды прислал мне двухтомник Александра Блока, потом и свои романы «Падение Парижа» и «Буря». У Ильи Григорьевича, между прочим, был настолько неразборчивый почерк, что никто из моих знакомых по сей день не может расшифровать простую дарственную надпись: «Семе Шпунгину на добрую память — Илья Эренбург». Только подпись автора различима.

Через два года, т.е. в 1948 г., я уже учился в выпускном 12-м классе и готовился к экзаменам на аттестат зрелости. Но как раз в это время возникли обстоятельства, выбившие меня из равновесия. Мой дядя настаивал на том, чтобы, закончив школу, я не думал ни о каком вузе, а освоил ремесло фотографа и стал подмастерьем. В ответ на мое письмо по этому поводу Илья Эренбург откликнулся несколькими строчками, отпечатанными на машинке: «Дорогой Сенья, спасибо за письмо, советую не обращать внимания на домашние неурядицы и налечь на учебу, чтобы потом легче было бы попасть в высшее учебное заведение. Шлю сердечный привет...»



Дарственная надпись Ильи Эренбурга Семину Шпунгину на форзаце романа «Буря»

В том же духе сразу написала мне и Валентина Ароновна Мильман, секретарь Эренбурга: «Сема, голубчик... чувствую, что тебе сейчас трудно и даже очень. Советую тебе одно: все, поскольку возможно, отложить в сторону и сосредоточить все силы и стремления на учебе. Вот надо, чтобы были все пятерки, — тогда дорога перед то-

бой открыта... А мы все, которые тебя любим и в тебя верим, постараемся сделать так, чтобы тебе было легче и интересней жить... Тебе ведь осталось так немного — соберись с силами и нервами и сделай все на „отлично”»...

Весной следующего года я получил аттестат зрелости с серебряной медалью. Тогда это позволяло быть принятым в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. И я, конечно, поехал в Москву преисполненный радужных надежд. Не раздумывая, пошел в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) сдавать документы на отделение журналистики филологического факультета. Но не тут-то было: в приемной комиссии, как только увидели пятую графу¹³ моего паспорта, сказали, что у меня нет никаких шансов на зачисление и отправили восвояси. Без всяких объяснений. Я не учел, какое это было время, не знал, что уже разгромили Еврейский антифашистский комитет, арестовали крупнейших еврейских писателей, зверски убили Михоэлса¹⁴ и что уже исподволь вынашивались другие зловещие планы.

Что было делать?

Я обратился за советом к Эренбургу, предположив, что, может быть, стоит переориентироваться на Литературный институт им. Горького. Но Илья Григорьевич не мог ничего посоветовать в этой ситуации. Он, как и я, сомневался, но все же позвонил при мне поэту Евгению Долматовскому¹⁵ с просьбой «подкорректировать» мои стихи, поскольку в институт надо было представить образцы творчества. Что уж греха таить, Евгений Аронович несколько часов поработал со мной у себя дома и «справился» с ролью придирчивого редактора. Дальнейших осложнений не было. Так я стал студентом вуза, не связанного с моими прежними намерениями.

Я успешно сдал экзамены и зачеты за оба семестра, но когда кончился учебный год, случилось неожиданное. Всем, кто был принят на первый курс прямо со школьной скамьи, вернули документы... Правда, с обещанием согласованного перевода в другие вузы. Дело в том, что в 1950 г. планировалось преобразование Литинститута в Академию писателей.

Так начался новый виток моих приключений на подступах к высшему образованию. И в дальнейшем не обошлось без вмешательства Ильи Эренбурга, но прежде, чем рассказать об этом, необходимо изложить предшествующую почти детективную историю. На филфаке МГУ, как и в прошлом году, не стали со мной разговаривать. И тогда у меня возникла идея обратиться за содействием в Союз советских писателей СССР, при котором числился Литературный институт им. Горького. В приемной генерального секретаря Союза писателей А. А. Фадеева сидел один импозантный посетитель — человек в очень темных очках и с тростью в руке. Вдруг он посмотрел на часы и, сказав секретарше, что вернется ровно через час, ушел. Поскольку его лицо показалось мне знакомым, я поинтересовался, кто же это был, и выяснил — Вилис Лацис...

Вот это да! Надо непременно попробовать воспользоваться нечаянно подвернувшейся встречей, решил я, зная о том, что писатель еще и занимает пост главы правительства Латвийской ССР. Дождавшись его возвращения и находясь рядом с ним в той же приемной, я с его позволения рассказал о своей проблеме. Лацис был в хорошем расположении духа.

— Что ж, я понимаю ситуацию, — сказал он. — Но раз вы из Латвии, не будем жалеть бумаги! Пойдите в Постоянное представительство Совмина республики на улице Чаплыгина и попросите от моего имени постпреда Паэгле напи-

сать ходатайство в Московский университет. Я ему тоже скажу об этом. А если ходатайство не поможет, сообщите мне в Ригу. Что-нибудь придумаем.

Официальную бумагу с печатью я отнес на факультет, где ее рассмотрели и... отклонили. Глухая стена! Я написал, как было условлено, письмо в Ригу на имя Лациса, не очень-то, правда, надеясь, что секретаряг его передаст ему лично. Но дней через десять, 18 июля 1950 г., вдруг получаю правительственную телеграмму из нескольких слов: «ПИСЬМО КАФТАНОВУ ВЫСЛАНО ЗАМПРЕД СОВМИНА ЛАТВИИ ОСТРОВ». Вскоре я узнаю содержание «депеш», адресованной министру высшего и среднего специального образования СССР. Правительство республики, оказывается, официально просит зачислить меня переводом на второй курс отделения журналистики филфака МГУ в счет брони Совмина Латвийской ССР! Это означало, что Московский университет не сможет отказать...

Так и произошло. Меня приняли беспрекословно и даже выписали студенческий билет! Но, увы, я слишком рано обрадовался. «Детективная» история продолжалась. Когда осенью начались занятия, моего имени не оказалось в списке студентов отделения журналистики. Я обнаружил его совсем в другом месте — на романо-германском отделении. В деканате сказали: «Такое решение принято...» И вот я сижу на семинаре, почти ничего не понимая со своим школьным немецким, — настолько далеко продвинулись тут за год в изучении языка.

...Эренбург попросил меня прийти в назначенное время в его депутатскую приемную. Подумав над тем, что я ему рассказал, он решил связаться с одним из главных распорядителей на факультете — заместителем декана Зозулей.

— Только давайте это обставим посOLIDнее, — сказал Илья Григорьевич, — позвоните ему, будто вы мой секретарь, и сообщите, что соединяете со мной. Набираю номер:

— Михаил Никитович? Минуточку... С вами сейчас будет говорить Илья Эренбург, — и, услышав торопливое «да-да, я жду...», передаю трубку.

Отвечая по ходу разговора на задаваемые вопросы, Зозуля юлил и утверждал, что мое зачисление зависело не от него, а от Антропова, заведующего отделением журналистики, и советовал обратиться именно к нему. Но когда затем Эренбург перезвонил Антропову, тот заявил, что возражение исходило от... Зозули. Игра в кошки-мышки.

В этот же день я поспешил к Антропову. Он не стал ничего объяснять, а лишь молча достал мое дело и показал находившееся там письмо Совета министров Латвийской ССР. На нем красовалась размашистая резолюция: «Латвия в этом году не имеет в МГУ брони, но если бы даже была, то у Шпунгина на нее нет права, так как он не является представителем коренной национальности». Написал это секретарь парторганизации факультета Ухалов, он же секретарь приемной комиссии.

И вот новая встреча с Эренбургом — у него дома.

— Давайте оценим обстановку, — рассуждает Илья Григорьевич. — Вас приняли на одно отделение, произвольно перебросили на другое, а значит, скорее всего, вас вообще собираются исключить. Надо сейчас закрепить ваше положение. Это главное. Но, по-моему, все-таки лучше вам остаться на романо-германском отделении...

Заметив мою растерянность, Эренбург произносит:

— Не нужно печальных глаз, молодой человек, — и начинает меня убеждать, что следует на всякий случай «иметь какую-нибудь профессию за душой», что

она не помешает, а наоборот, поможет в газетной работе, если это станет осознанным выбором в жизни. — Он приводит в пример Чехова, Гроссмана, других писателей и известных журналистов. А я киваю головой, не смея перечить.

Затем Илья Григорьевич пригласил стенографистку и, расхаживая по комнате, продиктовал письмо Зозуле. Я получил его в отпечатанном виде на бланке депутата Верховного Совета СССР. Выразив свое «чрезвычайное удивление» по поводу резолюции, ущемляющей права студента Шпунгина, «поскольку он не латыш», Эренбург писал: «Я позволю себе... просить Вас проверить обоснованность этих мотивировок. Я обращаюсь к Вам в данном случае как депутат Верховного Совета СССР от Латвийской ССР». И далее: «Шпунгин, как Вы знаете, зачислен в студенты приказом ректора университета за №299-у. Я считаю поэтому, что он имеет полное право приступить к занятиям... После разговора с Вами я лично посоветовал ему пойти на романо-германское отделение. Мне удалось его в этом убедить, и я надеюсь после разговора с Вами, что никаких препятствий больше не возникнет».

Войдя в кабинет Зозули, я вспоминаю «непонятный» семинар по немецкому языку и чувствую, что не могу заставить себя примириться с романо-германским отделением... Сомневаясь, отдать ли письмо Эренбурга по назначению, я все же показываю его заместителю декана, не выпуская из рук. Он видит депутатский бланк, читает на нем свое имя, тянется за письмом, и в эту минуту я... кладу его себе в карман. Зозуля — в полном недоумении, а я ухожу...

Не желя упустить последний шанс, я с трудом добился приема у ректора МГУ. И рассказал ему про то, как сначала меня приняли на второй курс отделения журналистики, а затем беспричинно и без моего ведома убрали оттуда и перевели...

— Позвольте, но вас оставили в университете? — не разобрав, что к чему, спросил академик А. Н. Несмеянов.

— Да, оставили, но на другом отделении...

— Как это так — приняли на одно, а оставили на другом?... Куда, собственно, вас зачислили, на какое отделение?

— Журналистики...

— Так в чем же дело? Идите туда, коли Вас приняли, кто Вам мешает?.. — говорит Несмеянов, еще не совсем, видимо, понимая происходящее.

Действительно, кто мне мешает?! После состоявшегося странного диалога я снова посещаю Зозулю и передаю ему со смиренным видом слова Несмеянова о том, что могу оставаться на отделении, куда меня приняли, и никто, мол, не мешает этому...

— Ректор в самом деле так сказал? — недоверчиво переспросил Зозуля. — Ну...если он разрешил, так оставайтесь...

Вот и все. Больше на эту тему разговоров никогда не возникало. Со временем отделение журналистики было преобразовано в самостоятельный факультет, и я окончил его беспрепятственно. Остается добавить, что диплом с отличием вручил мне председатель государственной экзаменационной комиссии Ухалов. Тот самый, которого не устраивало, что я не латыш...

Как видно из моего рассказа, я не послушался совета Эренбурга. Хорошо ли, плохо ли — так получилось. Однако его письмо, увиденное, но не прочитанное Зозулей, все же произвело должный эффект и несомненно сыграло свою роль в прорыве глухой стены университетских «идеологов». Конечно, мне повезло, что

Эренбург совершенно случайно оказался депутатом Верховного Совета СССР от Латвии, более того, от города Даугавпилса¹⁶, откуда я родом. Но не менее удивительно и другое совпадение: на прием к ректору мне удалось попасть лишь потому, что он был депутатом Верховного Совета СССР как раз от того района Москвы, где я был прописан...

После университета я работал три года в Смоленске, а все остальное время — в Латвии, в Риге, где «дорос» до заслуженного журналиста республики. Бывая в Москве, я не упускал возможности навестить к Эренбургу, хотя бы взглянуть на него, пообщаться накоротке. Не помню случая, чтобы он когда-либо не принял меня, сославшись на занятость или другие причины.

Однажды, было это в первой половине шестидесятых, Эренбург рассказал мне, с какими сложностями он сталкивается в издании своего девятого собрания сочинений. Редакторы, у кого нос по ветру, норовят пригласить любые сомнительные, по их мнению, места; иногда доходит до курьезов. Например, в выражении «еврейский мальчик» требуют убрать первое слово, оставив только второе. Но, главное, по непонятным соображениям задерживается выпуск издания. Если первый том был подписан к печати в 1962 г., то второй — лишь через полтора года.

— Я, — сказал Илья Григорьевич, — уже отреагировал на это безобразие — предупредил издательство о своей готовности расторгнуть договор. Впрочем, — добавил он улыбувшись, — все понимают, что это невозможно. Потому что подписка на собрание с объявленным тиражом в 200 000 экземпляров давно закончена.

Другой раз зашла речь о взаимоотношениях Эренбурга и Шолохова, о которых я уже был наслышан. Удовлетворяя мое любопытство, Илья Григорьевич не стал подбирать слова для характеристики «живого классика». Пожалуй, самые мягкие из них — «антисемит», «пьяница». Эренбург вспомнил, как в 1961 г., накануне его семидесятилетия, ему в панике позвонил директор Центрального дома литераторов и сообщил о том, что Шолохов изъявил желание присутствовать на юбилее, — «директор хорошо знал, что если там будет Шолохов, то не будет меня...» Назревавший скандал едва удалось предотвратить. Иногда, находясь в подпитии, Шолохов неузнаваемо менялся и милейшим голосом вещал по телефону: «Илья, дружище, ну чего нам делить, ведь у нас с тобой всего лишь литературные расхождения!..»

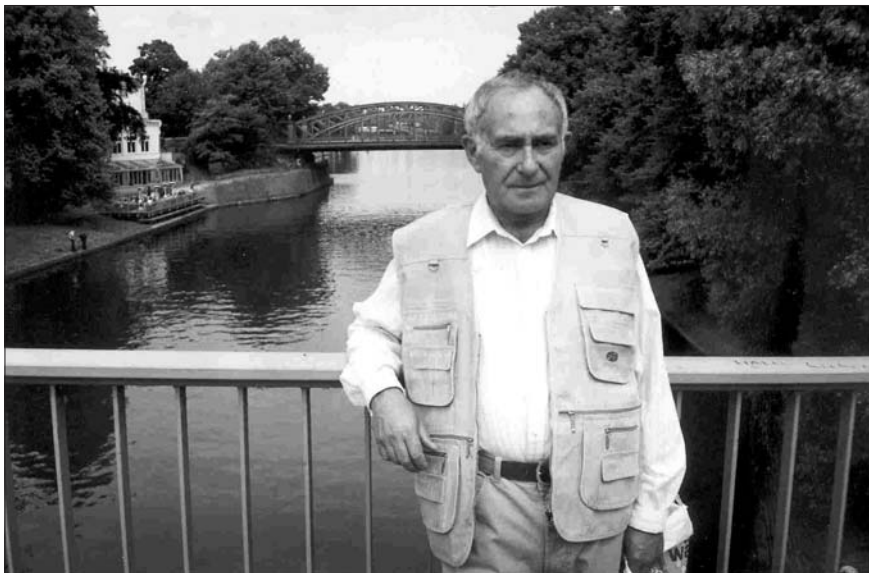
Далее я услышал подробности происшествия на совещании у Н. С. Хрущева, созвавшего видных писателей страны.

— Вдруг встает Шолохов и начинает нести чушь об одном из моих ранних романов «В проточном переулке». Его выступление сводится к тому, что в этом романе одни только евреи изображены ярко, выпукло, а русские люди намеренно показаны плоскими и безликими. Поэт Александр Безыменский, не выдержав, попытался выразить протест против антисемитских высказываний в здании ЦК партии, но Хрущев грубо одернул его. Тогда я поднялся и, заявив, что не намерен сидеть за одним столом с фашистом, демонстративно покинул совещание...

— И то, что вы сказали, услышал хоть кто-нибудь? — спросил я, не скрывая удивления.

— Ну как же, на совещании было человек тридцать, даже больше...

...Почти через тридцать лет после смерти Эренбурга его дочь Ирина Ильинична активно участвовала в подготовке наиболее полного варианта «Черной



Семен Шпунгин. 2002 г.

книги». По ее просьбе я послал ей вырезки публикаций, которые ее интересовали. Вскоре на мой рижский адрес пришла из Москвы посылка с тремя томами великолепно изданных мемуаров Ильи Эренбурга. На первом из них надпись: «Дорогому Семе с благодарностью и на память о моем отце и Савиче. Июнь 96 г. Ир. Эренбург». Тома эти заняли достойное место в моей «эренбургиаде».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — писатель, общественный деятель. Родился в Киеве. За участие в революционном движении был арестован, в декабре 1908 г. эмигрировал в Париж. В 1921—1924 гг. жил в Берлине, активно сотрудничал в советской печати. С начала 30-х гг. постоянно жил в СССР. Во время гражданской войны в Испании (1936—1939) был военным корреспондентом газеты «Известия»; публиковался как эссеист, поэт. С началом Второй мировой войны приобрел широкую популярность как публицист. Название его повести «Оттепель» 1954—1956) стало метафорическим определением короткого постсталинского периода. Наиболее значительное произведение последних лет — воспоминания «Люди. Годы. Жизнь» (кн. 1—6, 1961—1965), которые открывали многие ранее скрытые имена отечественной и зарубежной литературы. Был депутатом Верховного Совета СССР 3—7-го созывов, с 1950 г. вице-президент Всемирного Совета Мира. Умер в Москве. Произведения переведены на основные языки мира. — *Ред.*

² Гроссман Василий Семенович (1905—1964) — писатель. Родился в Москве. Публиковался с 1934 г. В годы Второй мировой войны — военный корреспондент. Главное произведение — роман «Жизнь и судьба» (1948—1960; опубл. в 1980 г. за рубежом и в 1988 г. в СССР), в котором поднята проблема сопротивления личности насилию тоталитарного режима. — *Ред.*

³ «Черная книга» — сборник материалов, показаний очевидцев и документов об уничтожении нацистами евреев на территории Советского Союза и Польши, составленный под редакцией В. Гроссмана и И. Эренбурга. Сборник создавался с 1943 г. в рамках международного проекта при финансовой поддержке американских еврейских организаций; в проекте приняли участие А. Эйнштейн,

- Л. Фейхтвангер и другие выдающиеся интеллектуалы и общественные деятели. Уже набранная книга была уничтожена в 1948 г. при ликвидации Еврейского антифашистского комитета. Сохранившаяся рукопись была издана в 1980 г. в Иерусалиме; имеется также ряд ее последующих изданий (напр.: Киев, 1991; Вильнюс, 1993; и др.). Подробнее о запрете «Черной книги» см.: *Костырченко Г. В плену у красного фараона: Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие: Док. исследование. М., 1994. С. 68—73. — Ped.*
- ⁴ Воспоминания автора, относящиеся к периоду нацистской оккупации, помещены в настоящем сборнике (раздел «Живая история»).
- ⁵ Истребительные батальоны — военизированные добровольческие формирования создававшиеся в СССР во время Второй мировой войны для борьбы с диверсантами противника главным образом в прифронтовой полосе. — *Ped.*
- ⁶ ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству) — массовая добровольная общественная военно-патриотическая организация в СССР в 1927—1948 гг. — *Ped.*
- ⁷ Савич Овадий Герцович (1896—1967) — писатель, поэт, переводчик. Родился в Варшаве, учился на юридическом факультете Московского университета, был актером. С 1923 г. жил в Берлине, затем в Париже. В начале 30-х гг. корреспондент газеты «Известия», затем ТАСС в Испании. По возвращении в Москву занимался переводами испанской поэзии. — *Ped.*
- ⁸ Мазе Яков (1859—1924) — общественный деятель, раввин, публицист; получил юридическое образование в Московском университете. С 1893 г. казенный раввин Москвы, после Февральской революции один из руководителей Совета еврейских общин России, депутат Учредительного собрания. В годы советской власти выступал против ограничения еврейской религиозной жизни. — *Ped.*
- ⁹ Еврейские писатели, в 1952 г. расстрелянные по делу Еврейского антифашистского комитета. — *Ped.*
- ¹⁰ Советское информационное бюро — орган информации, созданный 24 июня 1941 г. для руководства всей работой по освещению международных и военных событий, а также внутренней жизни СССР. Занималось также составлением и публикацией военных сводок по материалам Верховного главнокомандования и организацией контрпропаганды. Просуществовало до мая 1945 г. — *Ped.*
- ¹¹ Газета выходила с 6 июля 1942 г. (Куйбышев, ныне Самара) по 20 ноября 1948 г. (Москва). — *Ped.*
- ¹² Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 — 1 октября 1946 г.) — судебный процесс над главными нацистскими военными преступниками (суду были преданы 24 преступника, входивших в правящую клику фашистской Германии); проводился в Нюрнберге (Германия) в Международном военном трибунале, который был создан в соответствии с московской Декларацией об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства от 30 октября 1943 г. (СССР, США и Великобритания) и Соглашением между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран «оси» (т. е. Германии и ее союзников) от 8 августа 1945 г. (соглашение содержало принципы Устава Международного военного трибунала). Подсудимым наряду с обвинениями в преступлениях против мира и военных преступлениях были также предъявлены обвинения в преступлениях против человечности: в истреблении, порабощении, высылках и других жестоких, совершенных против гражданского населения по политическим, расовым или религиозным мотивам. Трибунал объявил преступными организации германского фашизма: гестапо (нем. *Gestapo* — сокр. от *Geheime Staatspolizei* — государственная тайная полиция); СС (нем. *SS* — сокр. от *Schutzstaffeln* — охранные отряды, главная террористическая организация нацистов в Германии и на оккупированных территориях); СД (нем. *SD* — сокр. от *Sicherheitsdienst* — служба безопасности) — служба разведки и контрразведки СС; руководящий состав нацистской партии. Были разоблачены сущность нацизма (германского фашизма) и его планы уничтожения целых народов, опасность возрождения фашизма в любой его форме для всего человечества. Подробнее об этом см., например: Нюрнбергский процесс: Сб. материалов: В 8 т. М., 1987—1991; *Полторак А. И.* Нюрнбергский эпилог. 3-е изд. М., 1983.
- ¹³ В действительности в советском паспорте того времени это была третья графа. Выражение «пятая графа» или «пятый пункт» появилось из-за пятой графы в «Листке по учету кадров», заполнявшемся всеми поступавшими на работу на предприятия или в учреждения СССР; содержала сведения о национальности. — *Ped.*

- ¹⁴ Михозлс (наст. фам. Вовси) Соломон Михайлович (1890—1948) — актер, режиссер, педагог, общественный деятель. Родился в Динабурге Витебской губернии (впоследствии Двинск, ныне Даугавпилс в Латвии). Получил традиционное еврейское образование. С 1911 г. учился в Киевском коммерческом институте, откуда был исключен за участие в студенческих волнениях; в 1915—1918 гг. учился на юридическом факультете Петроградского университета. На сцене с 1919 г., работал в Московском государственном еврейском театре (с 1929 г. художественный руководитель). В 20-е гг. играл бытовых и комедийных персонажей в спектаклях по произведениям еврейской классики, снимался в кино («Еврейское счастье» по Шолом-Алейхему (1925), «Цирк» (1936), «Семья Оппенгейм» по Л. Фейхтвангеру (1938)). Крупнейшее творческое достижение — главная роль в спектакле по пьесе У. Шекспира «Король Лир» (1935). Сценические творения отличались философской глубиной, страстным темпераментом, остротой и монументальностью формы. Лучшая режиссерская работа — спектакль *«Фрейлехс» по мотивам еврейского фольклора (1945). С 1931 г. открыл при своем театре училище, готовившее актеров для еврейских театров Советского Союза (с 1941 г. профессор). В годы Второй мировой войны возглавил Еврейский антифашистский комитет СССР. Убийство С. М. Михозлса было организовано советскими органами госбезопасности. — *Ред.*
- ¹⁵ Долматовский Евгений Аронович (1915—1994) — поэт. Автор лирических стихов и текстов песен. Наиболее крупное произведение — роман в стихах «Добровольцы» (1956) о строителях московского метро (экранизирован). Автор мемуаров «Было. Записки поэта» (кн. 1—3, 1973—1988). — *Ред.*
- ¹⁶ Подробнее об этом см.: *Рочко И.* Илья Эренбург в Даугавпилсе // Евреи в меняющемся мире: Материалы 4-й Междунар. конф., Рига, 20—22 нояб. 2001 г. Рига, 2002. С. 108—117.